*П.А. Жукова[[1]](#footnote-1)*

**Продуктивная горечь Юрия Кузнецова**

В раскрытом свистящем пространстве, «оставляя чуждые пределы» и «проходя за вечное кольцо», по бездорожью бредёт расколотая тень поэта, «убитого наполовину». Приближаясь к собственному «отсутствию», она оставляет позади себя разомкнутые щели, шагом множит «живую пустоту» за собой, удаляясь всё *глубже* в «распахнутый мрак», в сумрак неизвестного, оставляет «следы» вдоль непроходимых дорог «неподвижными» - потомкам.

«Как горько буду я на этом свете/Грядущими сиротами любим!».

Всё творчество Юрия Кузнецова – о блуждании в «земном промежутке», о скитаниях «в живом молчанье смерти и любви», о предчувствии присутствия соседнего бытия, путь к которому лежит через бездну. Размышляя о предстоящем, о том, куда отправится его душа, оторвавшись от всего земного и от него самого, или о том, чем будет оправдано вечное движение всего сущего, он, «отягчённый полуземным мельканьем», творит словом инобытие, и в такой поэтической медитации теряет ощущение пребывания в вещном мире, растворяется в Логосе. Он оказывается в двух мирах одновременно, и в двух мирах он одинаково *жив*: «…границы прозрачными стали./Это верно: я вижу простор,/Где гуляет волна за волною,/Потому что упал мой забор/Прямо в море – и вместе со мною.<…>И уносит меня в никуда/На родном деревянном заборе». Пропадает грань между естественным и сверхъестественным, как в мифе. «Даль через дорогу переходит», «летят на том и этом свете/Поперёк дороги облака»; «Усталые люди вздыхают на этом,/А тени на том берегу»; «Горизонты и крыши размыты», за стеной – обрыв, «край иной земли», «за окном потусторонний свет»; «Душа улетает бесплотной/Сквозь двадцать сетей навсегда»; тени и светила находят соседство друг с другом в пространстве, исключающем и то и другое: «равновесие света и мрака», «Рассвет наплывает по правую руку,/Закат наплывает по левую руку»; события сна корректируют явь; камню открывается душа; стул замещает человека, стоит надеть на него пиджак: «Стул в моём пиджаке <…> Подойдёт к телефону,/Скажет: - Вышел. Весь вышел./Не знаю, когда и придёт», следы – то же: «Встал, как лишний, след от наших тел./Нацепил пальто и хлопнул дверью». Бытие поглощает быт, быт – Бытие, и в этом невозможном слиянии-насыщении рождается великая фантасмагория: гротескная дикая образность при стихийности *внимания* автора. «Треснул с грохотом мир – и в избе/Я увидел зиянье провала./Возле бездны поставил я стул,/Чтоб туда не шагнуть ненароком». «Он видел больше, чем его глаза,/Он тронул глубже зримого покрова» - это слова Кузнецова о Христе, но не будет кощунством обратить их на самого поэта, даже если добавить, что любой серьёзный, равно – сильный, поэт – немного Христос, тоже Распятый. Юрий Кузнецов *видит* гораздо дальше и глубже даже собственного воображения и собственной фантазии, он обретает свой стих в измерениях, не доступных человеческому разуму, его поэзия – это видения творящего сознания. Призраки, вполне реальные для *своего* родного мира, но невидимые для человеческого, приходят к нему, обнаруживают себя для него и уводят его *вглубь*, во всевековое, всемирное, планетарное хранилище и открывают его Великому Знанию. Таких поэтов, способных терять *плоть*, при сохранении себя созерцателем, очень немного.

В стихотворениях Юрия Кузнецова «развязываются» все тропы и все «сопредельные миры», но каждый его стих - это попытка поэта «взорванное сущее» зажать в «сосредоточенной горсти», заплести в рифму – а оно разбегается, разлетается, расплетается и тяжело повисает в воздухе. «Вздыхают прорехи меж строк», как свищет «щель меж звёзд». И его читателю поэтому, наверное, сложно сохранить ясное и непротиворечивое впечатление от знакомства с его поэтическим миром или, вернее даже, с его поэтическим космосом: это впечатление невозможно *упростить*, как невозможно упростить стих Кузнецова. Читаешь, например: «Планета взорвана - от ужаса/Мы разлетаемся во мрак./Но всё, что падает и рушится,/Великий Ноль зажал в кулак <…> Он держит взорванное сущее/И голоса: - Не отпусти!» - и чувствуешь движение колоссальной воли внутри стихотворения, мощную вибрацию напряжённых сил, чувствуешь самого автора, его могучие руки, стягивающие распадающееся сущее, но слышишь треск швов и сухожилий и осознаёшь, что непременно и скоро - ослабеет, порвётся, тогда всё разлетится мгновенно, рассыпется в прах. Его стих – сеть, в которую он поймал смысл жизни, трагическую суть Бытия.

Кузнецов таков во всём, противоречив и надломлен: он лёгок и в то же время страшно тяжёл, «рассеянно грустен» и зол, грозен и тут же беззащитен, одинок, жалок и горд, неприступен, самодостаточен, любящий и ненавидящий одновременно. Чтобы выразить себя, он выбирает классические формы русского стиха, использует ясную лексику, его поэзия внешне не изощрённа, даже не изысканна, на первый взгляд пряма, груба и даже иногда неотёсанна, но несёт колоссальную внутреннюю нагрузку: смыслами, подспудными голосами, звуками – помимо звучащей формы, его стих обладает голосом *глубины*, он звучит и изнутри, и звучание это не уловить невозможно. За каждым словом – символ, за каждым предметом – идея: «-Я помню вечную швею/Среди низин и дыр./В моё ушко продев змею,/Она чинила мир./Я прошивала крест и круг/И тот и этот свет,/Меняя нитки, как подруг,/И заметая след». Или: «Что ни буковка – турье дерево,/А на дереве по соловушке,/А за деревом по разбойнику,/За разбойником по молодушке,/На конце концов – перекладина,/Слёзы матери и печаль земли». И правда, читать Кузнецова можно вдоль и поперёк: «Про тебя она (строка), если вдоль читать,/Поперёк читать – так про всячину». Читать его можно и «мимо памяти», но тогда упустишь не только Поэта, не только смысл отдельного стихотворения не раскроется, но Единого Стиха, в котором отразилась и отражается судьба народа и страны, в котором развивалось и развивается сущее, реальность, прошлое и настоящее.

**Его поэзия** – это парение тяжёлых предметов. Его поэзия о расшатанности, неустойчивости, непрочности мира: чьи руки его качают? Бога ли, дьявола? Или он давно в петле, и обречён, и мёртвый раскачивается из стороны в сторону сам по себе…**Его тоска** – это тоска по мудрому, чистому, но оставленному в прошлом и позабытому народному мифу, вечно *погибающему* от невыносимой тяжести своего *бессмертия*.

**Его боль** от безнадёжности и непоправимости бытия. Он ловит суть происходящего и, за что бы ни взялся, в основе обязательно находит ошибку. Всё непрочно: чуть тряхнёшь – треснет, разломится; ступишь – провалится; коснёшься – рассыпется; дунешь – исчезнет; пойдёшь - потеряешься. Всё изначально неправильно и неисправно, так как строится на грехе. Всё вверх дном: «Опрокинуто пламя свечи», «занесли на Бога серп и молот,/Повернули реки не в ту степь», «В белом свете всё перевернулось», и особенно сильные строки: «жизнь свихнулась, хоть ей не впервой,/Словно притче идти по кривой/И о цели гадать по туману./Там котёл на полнеба рванёт,/Там река не туда повернёт,/Там Иуда народ продаёт./Всё как будто по плану идёт…/По какому-то адскому плану», «Одолень-звезда взошла над нами,/Замешалось лихо на беде/Полнарода ходит вверх ногами,/Словно отражения в воде». «На сегодняшнюю жизнь смотреть страшно, и многие честные люди в ужасе отводят глаза. Я смотрю в упор», - говорит Кузнецов и *видит* ущербность жизни, замечает её изъяны и погрешности, страдает перед *видимым* лицом безобразной реальности, в которой ничего, кроме хаоса, не находит, ничего определённого, ничего ясного, ничего надёжного, ничего постоянного – всё непонятно, абсурдно и обречено, в беде, не знающей ни смысла, ни цели. «Проступает в оконном стекле/Божьей матери образ печальный./Это знак! Это знак непростой!/Что-то страшное с нами случится». И естественно в таких условиях в сознании поэта рождаются мысли о собственной инакости, и эти мысли ранят, чуть ли не больней, они ещё дальше отбрасывают его за пределы общего круга, они не оставляют надежд на *сближение*: «Жизнь копейка, да и та ребром./Я всё время думаю инако,/Разве это кончится добром?<…>Я всё время говорю стихами,/Как апостол или идиот», «Не в ту степь мою жизнь покачнуло,/Не в те дали заносится ум»…

**Его трагедия** – это его одиночество. Одиночество в пошатнувшемся мире, где не за что ухватиться, не на что опереться, одиночество в стране, которая распродана , либо роздана задаром, одиночество в Пустоте, в «индустриальной пустыне», где «никого! Ничего!». Он рождён в «самодовольный аварийный век», он «вырос с инфантильным поколеньем». Его окружают «глухие пропасти», «великие дали/И дыры российской земли», он слышит свист ветра, «гул молчанья» («в полный голос зашлась тишина») и «вопли чужого бытия», над ним – «пробитое пулями солнце», «потолок небес», «мглится бездна под каждой пятой», «вместо пола и стен – решето» - и всё насквозь мертво. И искать человека в человеке бессмысленно: все «пусты и сквозят, как туманы», «подойдёшь – человек разлетится,/Отойдёшь – соберётся опять» и даже – «хочешь лицо дорогое погладить - /По воздуху руки скользят». «Всегда и везде я одинок, даже в кругу друзей», - открывался поэт в одном из интервью. «…Старые друзья/Спились, а новым доверять нельзя». Поэтому появляются строчки: «я одинок, я жду освобожденья,/Как хвост кометы, жизнь свою влача», «Сизый вздох по любви и уюту,/Словно птица обмёрз на лету», «В трагической формуле мира/Я изгнан за скобки. Мой знак/Стоит одиноко и сиро,/Таращась в распахнутый мрак» и гордое: «Пусть они проживут до седин,/Но сметёт их минутная стрелка./Звать меня Кузнецов. Я один,/Остальные – обман и подделка», «остальные дым».

**Его молитва** отзывается «громовым небесным раскатом», «слова зовут и гаснут, изнывая», это рыдание в «пустые просторы»: «Бог дремлет» - одни люди в разрушенном храме рыдают, другие - взрывают оставшиеся. Кузнецов хочет иного Бога, такого, который сумел бы привести в порядок жизнь на земле, простить и полюбить человека снова и зажечься над ним яркой звездой, освещающей верные и неверные пути, чтобы человек мог выбирать тропу не вслепую, не во тьме шаря руками, задевая и громя всё вокруг, но освещённый всеведающим оком Бога.

Однажды прогнав Бога, человечеству нелегко будет его возвратить. У Кузнецова не Бог покинул людей, а люди оставили Бога и кланяются «безликой пустоте». Войны, разрушение храмов, Сталин – Богу места нет, он не нужен: «гордое неверие». Бог потерян его поколением без сожаления, легко «приняты ложные святыни»: «Что жалеть? Не такие потери/Проходили за давностью дней». Кузнецов понял раньше, что причиной всех бед, выпавших на долю не только его страны, является как раз отсутствие веры: отсутствие Бога в небе – отсутствие царя в голове. И он заранее увидел измученный и раскаивающийся человеческий род у стен разрушенного им же храма: «Сам хватился убогой потери,/Да забыл он за давностью дней:/Сам взрывал… Сам чертил эти двери/И просил, чтоб стучали сильней». Но люди века поэта ещё не осознали гибельность утраты. И Кузнецов болел сердцем и за народ, и за Бога, но и зол он был на обоих: на людей за активность, на Бога – за пассивность, наверное. «Купол неба треснул до земли./На распутье я не вижу Бога». Но в его стихах, даже в самых опасных, даже в тех, которые – бунт, есть Вера, есть Надежда, что небеса и купола оживут: «Мир остался без крова и хлеба», «солнце ни там и ни тут/И не греет косыми лучами», но построено будет «новое небо» - «Это небо светло и легко,/Этот голубь не знает печали,/Это солнце стоит высоко/И меня заливает лучами», «после многих смертельных ночей» грянет «колокол воскресенья» - об этом и стихотворения «Видение», «Голубь». «Буду плакать и молиться долго,/Может, голос мой дойдёт до Бога», а просит он мира, покоя, правды, чистоты, спасения и Любви.

**Его любовь** – не-правда на земле, так как бессильна перед временем. Он знает, любовь - декаданс, та любовь, которая превращается в законное право супругов друг на друга, становится чувством будничным. Если сначала – крылья, то потом обязательно – дно: «парад пустых бутылок, выстроенных в ряд» и «Нечего больше у доброго молодца взять./Полно, родная, красивую жизнь вспоминать./Мало прошли, но я дальше не вижу пути./Ты обезумела, я опустился…Прости». Любовь *возможная*, любовь-состоявшаяся *близость*, раскрывающаяся перспективой *свободных* слияний, без препятствий, *законных* слияний – станет любовью «тяжкой», любовью «ненавидящей»: «Закрой себя руками: ненавижу!<…>Я вырву губы, чтоб всю жизнь смеяться/Над тем, что говорил тебе: люблю». «Что может понимать жена в любви!». Заключать брак, всё равно что заказывать муки. Любовь возможно сохранить лишь расстоянием, не-разрешением, не*воплощённостью* страсти. *Несвершённость* дарует возникшему чувству бессмертие, иначе – непременно − путь от рая до ада, от любви до войны. Но это опыт и знание Кузнецова и не стоит об этом забывать, ведь есть же счастливые люди! А вера в вечную любовь, поможет её обрести или пройти этот путь не в тени обочин, а держась светлой стороны.

**Смерть**, которая не возвращает, если возьмёт, которая предел и завершение Жизни, у Кузнецова не конец, не конец не только для души, но и, кажется, для физического существования человека. «Он возвращался с собственных поминок/В туман и снег, без шапки и пальто». Но, конечно, он говорит не о бессмертии, но о неком едином пространстве, в котором сходятся жизнь и смерть, мир реальный, видимый, и загробный, зарытый или лежащий в иной плоскости. «Все живут, никто не умирает», «все поколенья живы», и живы, прежде всего, в народной памяти, которую Кузнецов называет по-своему «старой сводней», способной связать настоящее с прошлым, живое с мёртвым, своих с чужими, светлое с тёмным. И эта народная память предстаёт у Кузнецова каким-то бесплотным, но живым существом, способным рождать, рождать мёртвых в жизнь или забирать живых в смерть, но потом возвращать, чтобы пережитое путешествие имело последствия здесь, на земле. Кузнецов следует своей интуиции, создавая картины *всевр****е****меннности*, он творит свой миф, используя известные образы, известные символы (расширяя их дополнительными необходимыми смыслами), где встречается современность с древностью. Таким образом, реальность его стиха – мифопоэтическая, а в такой реальности смерти может и не быть.

Чаще всего о смерти Кузнецов пишет в стихах о войне. Великая Отечественная лишила его отца, Юрию Кузнецову шёл пятый год, войне – тоже, несколько месяцев оставалось до победы. Через смерть отца Кузнецов осознает масштаб трагедии, он будет терять отца и страдать от этой потери всю свою жизнь, так как гибель одного родного человека разрастётся гибелью миллионов, и Кузнецов будет переживать смерть каждого погибшего на войне солдата как личную утрату изо дня в день. В стихотворении «Возвращение» мы как раз наблюдаем картину *оживления* ушедшего. К порогу, где отца дожидается мать, бредёт, «одинокий и страшный», «столб клубящейся пыли <…> Словно машет из пыли рука,/Светят очи живые» - это он: «Шёл отец, шёл отец невридим…». В «Четыреста» Кузнецов отправляется на поиски убитого и, шагая «на запад и восток», находит гору, опоясанную семью цепями, за шестью из которых «смерть идёт», «а за седьмой – отец идёт,/Сожжён огнём на треть». И в этом распростёртом пространстве, находясь одновременно в двух противоположных концах света, где горы, дубы, осиновые листья говорят и знают о войне, он находит памятную плиту, под которой «в одной зажатые горсти/Лежат-ничто и всё». Услышав сыновнее «Восстань!», отец «с шумом сдвигает плиту» и так отодвигает границу между реальным и нереальным, возможным и невозможным: «Отец нащупал тень его (сына) - /Отяжелела тень./В земле раздался гул и стук/Судеб, которых нет./За тень схватились сотни рук/И выползли на свет.<…>Повеял вечный холодок/На синий божий день./Шатало сына взад-вперёд,/Он тень свою волок». «Все передо мной – и невозвратны» - такое пережить способен только поэт, только Кузнецов.

Поэтов, подобных Кузнецову – настоящих, сильных, трагических, не стоит забывать, не стоит замалчивать. Встречи с ними горьки, нередко болезненны, может быть, опасны, но всегда продуктивны и запоминаются на всю жизнь – отголоски этих встреч будут заставлять возвращаться к ним снова и снова, чтобы искать и находить в их творчестве-опыте утешение, спасение, правду, находить себя, когда нелегко, когда *молчание* внутри: они помогут *разговорить* душу и установить диалог личности с миром. Об этом лучше нас скажет сам Юрий Поликарпович - есть книги разные, авторы разные, и много поверхностных, бездарных, бесполезных, которые уводят, которые вредны, которых нужно избегать или не увлекаться ими: «Но попадаются глубины,/В которых сразу тонет взгляд,/Не достигая половины/Той бездны, где слова молчат./И ты отводишь взгляд туманный,/Глаза не видят ничего/И дух твой дышит бездной странной,/Где очень много твоего». Мы ищем мудрых друзей, или людей, способных понять и подсказать или просто искренне разделить наши страдания и наши радости, облегчить наш путь. Мы стараемся окружить себя людьми осторожными, деликатными и внимательными к нашему внутреннему миру – но это поиск в живом окружении, возможен поиск и среди книг, и этот поиск не безнадёжен. Писатели, поэты не умирают, а продолжают жить страницами своих произведений. В каждом стихе – душа поэта, в каждой строке – душа автора и она может стать твоим *другом*, даже твоим воспитателем, проводником. У Кузнецова такими друзьями были Шиллер, Байрон, Рембо и другие поэты, которых он переводил, и благодаря им он менее ощущал своё одиночество вне себя, одиночество во внешнем мире, *чужом* и *разбитом*.

1. Жукова Полина Александровна – студентка III курса филологического факультета КубГУ [↑](#footnote-ref-1)